

рический субъект открыт самым благородным побуждениям, но его внутренняя неспособность не столько откликнуться, сколько принять полной мерой и осуществить на деле собственные идеалы обнажает в его душе целые «пласты» кажущейся неискоренимою жизненной рутины:

*Пламя юности, мужество, страсть
И великое чувство свободы —
Все в душе угнетенной моей
Пробудилось... но где же ты, сила?
Я проснулся ребенка слабей.*

(Т. 2. С. 139)

И потому зыблется, мерцает, смещается в своих исходных основаниях оценочная точка зрения носителя речи:

*Что враги? пусть клевещут язвительней.
Я пощады у них не прошу,
Не придумать им казни мучительней
Той, которую в сердце ношу!
Что друзья? Наши силы неровные,
Я ни в чем середины не знал,
Что обходят они, хладнокровные,
Я на все безрассудно дерзal...*

(Т. 2. С. 138)

«Клевета» врагов — это, конечно же, всегда ложь по отношению к нам, в ней для нашего героя заключается *несправедливая* нравственная казнь. И в силу этого он горд, несгибаем, мужествен, не просит у врагов «пощады»? Нет! Оказывается, эта «клевета» в его глазах *справедлива, заслуженна*, и он сам подвергает себя столь «мучительной казни», которой «не придумать» и врагам! Не уметь сохранять в жестких ситуациях хладнокровие, а являть, наоборот, «безрассудство» — разумеется, неумно. Но ведь и придерживаться одной разумной середины, быть лишенным готовности страстно принимать дары жизни, не отваживаться «дерзать» — не значит ли быть лишь пошло «холоднокровным» и уныло и бесплодно *скучным*? Да и в поэме «Уныние» не о той же ли ценностной *относительности* призмы нашего восприятия других и себя уже впрямую заявил Некрасов?

*И вижу я, поверженный в смятенье,
В случайности несчастной — преступленье,
Предательство в ошибке роковой...*

(Т. 3. С. 134)

В *экзистенциально-духовном* слое мы тоже находим динамические процессы в творческом осмыслении художника. Если в юношеских стихотворениях Некрасова времени создания им лирического корпуса своего раннего сборника «Мечты и звуки» (1837—1840) начинающий стихотворец искренне и «нарядно» отливал переживания своих житейских невзгод в формы и тональность «тотальной» романтической «мировой скорби» и наивные рацей религиозно окрашенного морализаторства, то впоследствии его переживания своей ли «романтической» несостоятельности, «царящей» ли вокруг общественной несправедливости или сомнений в искоренимости человеческих пороков получали все более многообразное драматическое наполнение. Некрасов последовательно переходил от представления на всеобщее